

АРМАВИРСКИЕ ЧТЕНИЯ

С 2002 по 2008 годы в Армавирском государственном педагогическом университете (АГПУ) на кафедре литературы, возглавляемой профессором Ю. М. Павловым, проводились Международные конференции, посвященные творческому наследию русского патриота, выдающегося литературоведа, историка, философа Вадима Валериановича Кожина.

Наследие Вадима Валериановича Кожина привлекало и привлекает внимание многих ученых из разных стран, известных писателей, критиков, всех, кто неравнодушен к судьбе России и русского слова. Сам факт проведения конференции на протяжении семи лет подряд подтверждает современность и востребованность творчества мыслителя, свидетельствует о его жизни после смерти.

К 80-летию со дня рождения В. В. Кожина в сентябре этого года в АГПУ пройдут очередные чтения.

Подборка отрывков выступлений, прозвучавших во время Кожинских конференций в разные годы в Армавире, предлагается вниманию читателей.

Е. В. Ермилова (Москва)

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛИЧНОСТИ В. КОЖИНОВА

Я расскажу только маленький эпизод – как это начиналось. Вадиму Валериановичу надо было заполучить бумагу за подписью Федина, который тогда был руководителем Союза писателей. И это было трудно сделать, потому что Вадим не хотел идти официальным путем, будучи справедливо убежденным, что Федин откажет в официальной обстановке Союза писателей. Он решил поймать его дома. Это было не просто, потому что никто ему не мог сказать, когда появится Федин. И удалось, грубо говоря, “расколоть” секретаршу на этом, прошу прощения, “чувстве всемирности”, которая выразилась в низкопоклонстве перед Западом – он притворился немецким писателем. Он купил ее немецким акцентом, очень активно его наигрывая. И она дала ему всего-навсего время, когда Федин должен появиться дома. Вадим Валерианович караулил его. Мы жили в том же доме, только в другом крыле – он караулил его во дворе. Федин приезжает. Вадим Валерианович решил ему дать 15 минут, чтобы вымыть руки, переодеться, – и позвонил в дверь. А тут еще долж-

но было сработать вот что: Федин его не узнал, хотя были они в дружеских отношениях, голос совести должен был пробудиться. И, когда дверь открыла дочь, которая и секретарша и цербер жестокий при Федине, — Вадим с порога громко сказал, чтобы голос звучал на всю квартиру: “Я по поводу Михаила Бахтина”. Это отдалось в дальних комнатах, и Федин выскочил на этот звук: “Кто вы, родственник?” — “Да нет, совершенно необходимо издать книгу Бахтина”. В общем, у него была заготовлена бумага, и после некоторой заминки Федин ее подписывает. Это был самый первый шаг, толчок к началу бахтинской эпопеи Вадима Валериановича. Дальше пошло знакомство, потому что очень милая, чудесная женщина, жена М. Бахтина, написала ему отчаянное письмо: “Вы должны как можно скорее приехать к нам. Я не зову Вас в гости. Это очень важно. Важно для всех нас”. Понятно, что она очень болела, в 70-м году она умерла. Она очень боялась, что, когда она умрет, Мишенька будет никому не нужен, за Мишенькой некому будет присмотреть. И, поверив в полную преданность Вадима, она как бы передавала его с рук на руки. Он поехал почти сразу, и вместе с ним — Бочаров, Гачев. Ну и, конечно, впечатление было потрясающее. Впечатление величия, монументальности. Я приехала к ним уже в следующий приезд Вадима Валериановича. Действительно, это потрясение, это была Встреча с большой буквы. Бахтин потрясал сразу ощущением, что идет непрерывно богатейшая внутренняя работа. Ну и, кроме того, дальше продолжалось в том же авантюрном ключе, в котором все это началось. Надо было поторопить издателя и получить еще подпись Федина. Вадим Валерианович уже на даче, разогнавши свой велосипедик, влетел в калитку под яростный лай какого-то пса. Надо сказать — единственное, чего боялся Вадим Валерианович, так это собак. А пес мчался за ним вдоль террасы. Хозяин выглянул на шум, и Вадим Валерианович дал ему подписать две бумаги. Причем ощущение было, что это как бы два экземпляра, просто обращены к разным людям. На самом деле речь шла о двух разных книгах и разных изданиях — о Достоевском и Рабле. Ну и дальше примерно так же шло, в таком вот страстном напоре. Как нужно было убеждать Перцова, чтобы тот подписал! А со Шкловским вообще получилось забавно, потому что Ермилов как раз перед этим написал о нем какую-то разгромную статью, а Шкловский увидел: “Как это! я буду подписывать один документ вместе с Ермиловым?” И тут Вадим Валерианович разыграл сцену и сказал поникшим голосом: “Простите, но я считал Вас самым эксцентричным, самым интересным человеком в России. Представьте, как будет интересно, как будет увлекательно именно то, что вы подписываете вместе с Ермиловым”. И тот сказал: “А что? В этом что-то есть”. И подписал. Вот так шло на каждом этапе.

2003

Л. И. Бородин (Москва)

В. КОЖИНОВ НА ФОНЕ РУССКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 60–80-х ГОДОВ

Есть одна вещь, которую я считаю совершеннейшим шедевром и великим подвигом писателя, — это книга о Тютчеве. <...> Что для меня удивительно в этой книге? Кожинов сумел воссоздать не только историю личности, историю замечательного, великого русского поэта, но эпоху, как бы не замечая или забыв о всех возможных и реально существующих ограничениях на этот счет. Книга написана так, как будто она написана в сегодняшнее время. Так вот, меня поразило то, как он сумел осознать, ощутить, восстановить целую эпоху, потому что речь ведь идет не только о Тютчеве. Какое колоссальное знание материала! Я не представляю, сколько надо сидеть и читать, смотреть, изучать, чтобы таким образом, с такой достоверностью, как мне думается, поскольку я тоже по образованию историк, с такой полнотой, объемом воссоздать эпоху. И не случайно, по-моему (наверное, я не объективен, говоря, что это лучшая его книга), объектом исследования стал именно Тютчев, потому что это один из самых таинственных, один из самых загадочных поэтов XIX века. Он не погиб на дуэли, был служащим, более того, был генералом по званию, был цензором. Он служил России. Это так нетипично сегодня.

Если бы вы попали на какую-нибудь конференцию подобного типа, то прежде всего услышали бы банальные фразы: “Поэт в России больше, чем поэт”. И чем дальше русский интеллигент стоит от власти – тем лучше. Это сейчас везде – стоит только включить любую интеллектуальную передачу по телевизору – обязательно прозвучит. Тютчева и не любят вспоминать из-за этого. Что он, что Полонский, который тоже занимал высокую должность. И то, что Кожина заинтересовала фигура Тютчева в таком объеме, в каком он ее подал, вызывает у меня колоссальное уважение. Я скажу, что у него были удивительные – случайные – фразы. Год примерно 74-й, “Литературка”, в газете небольшая статья о литературе царствования Николая I и в нескольких фразах совершенно апокрифическое трактование эпохи его царствования. Я помню, с этой газетенкой я тоже носился по лагерю и показывал ее всем. Как можно? Ведь об этом говорить нельзя или опасно, и самое удивительное, что это воспринимается. Когда человек напуган, а потом через испуг что-то проговаривает, тут его, наверное, сразу и секут, потому что страх в строках ощущается. А когда это рождается совершенно органически, практически машинально – оно и проходит, оно и проскакивает. И много такого я помню. Жалею, посчитал нескромным, а надо было бы привести и показать... Мы ведь как делали: получали журнал – статья Кожина. Вырывается, берется полочка материи – мы шили рукавицы – прошивается. И у меня это было. Просто постеснялся. Зря, думаю. Я показал бы вам эту подшивку мою. Это примерно такая папочка. От полутора страничек до толстых статей – это все вырезанный Кожин из различных изданий, журналов, газет и прочего.

Ну и последнее, что я хочу сказать. Была у Вадима Валериановича одна тема, большая для него тема, главная для него, которую он не решил. Это тема “Россия и социализм”. Она сидела у него глубоко. В наши короткие встречи, так уж случилось, мы каждый раз договаривались: “Ну, как-нибудь соберемся, поговорим”. Не случилось. Не произошло. Ну жизнь, ну ладно, еще успеем. И я, честно говоря, немножко побаивался такого разговора. Могли разойтись мы в суждениях. По-моему, и он не очень тоже настаивал. Но иногда приходил, заходил в кабинет журнала “Москва”, произносил две-три фразы, – обозначал как бы заначку для разговора. Но тут же: “Это мы поговорим отдельно, это ладно, встретимся” – и прочее. Он попытался вычислить присущность, свойственность социалистического идеала самой русской душе. Кое-какие у нас небольшие разговоры на эту тему были. Не споры, а разговоры. Мы сразу их как-то прекращали. Но я абсолютно уверен, что для него это было очень важной и очень существенной темой, потому что, помимо этой темы, он чувствовал призванность России, мессианскую роль России. И у каждого народа есть своя миссия в истории. И, как мне думается, миссия России – это все-таки осуществление социализма. Правда, как я понял по одной из его фраз, – и мне это очень понравилось, он начал понимать разницу между социальностью и социализмом. Эту мысль он почти проговорил. И думаю, что не для него одного эта тема большая. Я слежу за внепатриотической литературой – и все время вижу эту боль. Иногда она от небольшого ума, а иногда именно от боли за Россию, от убеждения в том, что России суждена какая-то особая, своя неповторимая миссия.

2003

В. И. Лихоносов (Краснодар)

ВСТРЕЧИ С ВАДИМОМ КОЖИНЫМ

Я хочу сказать, что есть тема, которую наша печать как-то не осветила. Эта тема не разработанная, не исповеданная письменно, но она звучит в моей душе, поскольку, повторяю, я провинциал, – “московские писатели – и русские провинциалы и провинция”. Это огромная и очень жизненная тема для нашей литературы. Ведь провинциальные писатели, те, которые остались навсегда в провинции, и те, кто уехал в Москву, московская элита, – они шли навстречу друг другу все время, изначально, едва только появляясь на горизонте друг у друга. Как только что-то мерцало, В. Кожин тотчас обрадован-

но это замечал, как нечто родное, а если это талант — то родное вдвойне. Москвичи как будто всю жизнь ждали этого свежего воздуха талантливого из провинции. Я думаю, что Вадим Валерианович является собирателем культурной Руси. Это первый, по-моему, самый главный человек был в Москве. Он так многих обогрел, он столько открыл... Он, в отличие от моего друга Михайлова, участвовал в судьбе того писателя, которого он любит. Он братски относился к тем писателям и поэтам, которых он открыл. В нашей среде этому чувству придается огромное значение. Поэтому многие его никогда не забудут. Поэтому в это время, черствое, холодное, надо почувствовать эту сокровенность Вадима Валериановича, а не просто его сухую мудрость. Его чудесное знание, его редкая эрудиция, о чем часто говорят, — все правда, но еще большая правда и необходимость в том, что это редкий был по братскому чувству человек, по русскому братскому чувству. Я считаю, что Кожинова можно называть душой русской Москвы. Я все время сегодня с утра вспоминаю слова Г. Адамовича о Бунине. Он сказал, что Бунин — это последний луч какого-то прекрасного русского дня. Я все время вспоминаю эти слова применительно к Кожинову, хотя будет обидно — еще лучи есть в Москве и во всей России, лучи прекрасного русского дня есть еще. Но почему-то хочется вкусить вот это чувство последнего кожиновского пребывания. Кожинского слова. Впечатления от него всегда были изумительные.

2003

Г. М. Соловьев (Краснодар)

РУССКОЕ ПОЛЕ ВАДИМА КОЖИНОВА

(Нравственно-идеологический контекст газетно-журнальных публикаций)

Исследователи творчества В. В. Кожинова, на мой взгляд, постоянно находятся перед соблазном двух крайностей: крайности “отстранения” и крайности “растворения”. То есть, с одной стороны, реализуется “очень вольная”, доходящая до парадоксальности интерпретация мыслей Вадима Валериановича в области российской истории и культуры; а с другой — догматическая подмена живого учения его мертвой буквой. Как представляется, в особенности это симптоматично даже не в контексте исследования литературоведческих трудов Кожинова, а, скорее, при рассмотрении его газетно-журнальных публикаций, посвященных развенчанию псевдоисторических мифов о так называемой “духовной пришибленности России”. (Как известно, статьи и интервью Вадима Кожинова, касающиеся путей русского национального самосознания, регулярно появлялись на изломе XX века в газетах “Завтра”, “Правда”, журналах “Наш современник”, “Москва”, онлайн-изданиях “Русский переплет” и “Русское Воскресение”...)

Чем же симптоматичен нравственно-идеологический контекст газетно-журнальных публикаций Кожинова? Как думается, поставленная им перед собой фундаментальная задача предполагала взгляд современника эпохи размышления национальных и духовных приоритетов России — на величие основных вех ее истории и аутентичной культуры. Здесь, кстати, любопытна имплицитно проявленная позиция автора: искажение русского национального “я” привело к тому, что русский начал говорить не то, что думает, а то, что о нем якобы думают другие... Это кривое самосознание, безусловно, приводит неизбежно в свою очередь к потере ориентации в объективном мире.

И еще один интересный нюанс. Публицистические произведения Вадима Кожинова как бы перетекают друг в друга, рисуя страстно и эмоционально широкий исторический контекст эпох. А стержневое начало в этих публицистических откровениях — исполинский образ охранителя культурных и национальных традиций, тех корней, без которых новые поколения не могут пустить ростки. Эта патриотическая идея красной нитью проходит, например, через интервью корреспонденту “Комсомольской правды”, приуроченное к 120-летию со дня рождения И. В. Сталина. Кожинов, в частности, утверждает: “Не Сталин определял, а история, ход истории — ходы Сталина...” Та же симптоматика харак-

терна и для беседы Вадима Кожина с Владимиром Липуновым и Вячеславом Румянцевым за “круглым столом” онлайн-журнала “Русский переплет”, и для интервью газете “Завтра”, озаглавленного “Только верить...”

Подводя же некоторые итоги рассмотрения нравственно-идеологического контекста газетно-журнальных публикаций Вадима Кожина, необходимо сказать, что в них рационализация свободного патриотического мышления автора (чуждого одновременно и декларативности и конформизма) достигается, пожалуй, трояким образом. Во-первых, фиксацией темы (пути русского национального самосознания как осмысления глубочайших нитей духовной жизни народа и исторического своеобразия России). Во-вторых, фиксацией системы ассоциаций (к этнической абберации приводит только абберация духовная). И, в-третьих, фиксацией ассоциативных полей (осмысление величия национальных приоритетов в свете многовековой истории, притом не в духе эффективных экскурсов в прошлое, а на основе серьезного его изучения и понимания).

2002

А. А. Безруков (Армавир)

ЧЕЛОВЕК, ПРИЧАСТНЫЙ РОССИИ

В нашем первом обращении к наследию В. Кожина в статье “Срединный русский литературовед и мыслитель” мы стремились доказать, что срединность русской природы в кожиновском понимании и толковании формируется на православной основе и что В. Кожин, выявляя цельность и основательность православного восприятия жизни, способного охватить в пределах возможностей человеческой личности самые потаенные глубины человеческого бытия, объективно опровергает тезис о недостаточном, если не ущербном рассмотрении наследия русской классики в границах православия.

Думается, что наша попытка выделить феномен *возвращения* русской классики XIX века к православию, которая стала возможной во многом благодаря обращению к творческому наследию Вадима Валериановича Кожина, может еще раз подтвердить правоту слов М. Бахтина, с которыми, несомненно, был согласен и передавший их нам Кожин: “Человек, причастный России, может исповедовать именно и только Православие”.

2003

В. И. Шульженко (Пятигорск)

В. КОЖИНОВ КАК КРИТИК Ю. ТРИФОНОВА

Будучи истинным филологом (что иногда, мне кажется, намеренно умаляется в угоду другим ипостасям этого уникального человека), В. Кожин формирует свою цель как анализ “самых форм воплощения автора в произведении, различных типов соотношения автора и персонажей и т. п.” Только отмечу здесь, что в силу известных обстоятельств тогда мало кто смог обратить внимание на то, что такая констатация была прямым выпадом в полемике с Р. Бартом, статья которого с говорящим названием “Смерть автора” (1968) триумфально шествовала по обоим полушариям, становясь настоящим катехизисом интернационального сообщества методологических диссидентов. Бартовской игре с феноменом автора, в целом крайне важной для искусства XX века, В. Кожин противопоставляет учение М. Бахтина, в первую очередь ту его часть, в которой говорится об авторе как творческом субъекте произведения, воплощенном не в форме образа, а в форме всепроникающего голоса автора, который “представляет собою необходимую художественную объективизацию автора, без которой вообще немислимо произведение”. И задачу исследователя В. Кожина, вслед за своим великим учителем, как раз видит в том, чтобы уловить и аналитически выявить голос автора, ибо в нем воплощены виде-

ние, понимание и оценка созданного в произведении художественного мира.

Развивая далее индивидуальную версию бахтинского учения, выкристаллизовавшуюся впоследствии в отечественной историософии культуры в свое собственное направление, В. Кожинов, дифференцируя “художественного” автора от реального, видит главное отличие первого в высшей ответственности суждений и оценок, которую налагает на него даруемая искусством уникальная свобода в создании художественного мира.

Сознавая глобальность проблемы, В. Кожинов в случае с Ю. Трифоновым сужает ее спектр, выдвигая на первый план мало изученный в науке вопрос, связанный с эволюцией голоса автора в процессе творческого пути и, что оговаривается специально, изменением его, автора, отношения к создаваемым им образам.

Так, обращаясь к двум написанным с четвертьвековой разницей повестям Ю. Трифонова, В. Кожинов отмечает, что, несмотря на очевидную близость образов главных героев, существенную трансформацию в их обрисовке претерпевает прежде всего голос автора. Прежняя лояльность к Вадиму Белову, главным его добродетелям – кропотливости, упорству, медлительности – оценивается в “Доме на набережной” в связи с другим главным героем – Вадимом Глебовым – уже как безличность. Определение “никакой” теперь становится не достоинством образа героя, а его явной, целенаправленной дискредитацией.

2005

М. Д. Головятинская (Волжский)

В. КОЖИНОВ О ФЕНОМЕНЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗАПАДНИЧЕСТВА В ИСТОРИИ РУССКОЙ МЫСЛИ

Кожинов подошел к анализу явления западничества с культурно-антропологических позиций. “Казалось бы, – писал он, – последовательный западник – это человек, преодолевший свою “русскость” (которая, как ни крути, оценивается в западнической идеологии в качестве чего-то “второсортного”...).” Вместе с тем, по Кожинову, западника в Европе не встретишь, там нет желающих в массовом порядке преодолевать “свое” и усваивать “чужой” образ жизни и мысли. А потому западник – это “тип” именно русского человека, которым “овладело стремление превратиться в западноевропейца, и с известной точки зрения “русское” в этом типе выступает даже более явно и резко, чем в тех русских людях, которые попросту живут в своем мире, оставаясь самими собой”. Приговор Кожинова таков: “последовательное западничество является собой, в сущности, один из видов русского экстремизма”, а сами западники как носители некоего “комплекса национальной неполноценности” “второсортны” в русской культуре. Наиболее яркими носителями подобного экстремизма и “второсортности” он называл В. С. Печерина и И. С. Гагарина. Он полагал, что мыслители славянофильского лагеря, в числе которых Киреевский, Хомяков, Тютчев, Достоевский, Григорьев, Леонтьев, Розанов и другие, “по своему духовному уровню гораздо выше современных им “западников”. О представителях же западнического крыла российской интеллигенции он говорил преимущественно как о мыслителях второго ряда. Все русские западники оказываются людьми, у которых формируется своего рода двойная идентичность: “первая” – генетически присущая им по факту рождения в России, усвоенная в процессе социализации родного языка и народных традиций, и “вторая” идентичность или “вторая природа” – по определению искусственная, приобретенная в процессе образования и приобщения к универсалиям европейского Просвещения, вступившая в противостояние с собственной “первой природой”. “При интенсивном усвоении романо-германской культуры, – полагал Кожинов, – “русскость” может вроде бы полностью стереться, исчезнуть, – к чему, собственно говоря, и стремились (и стремятся) так называемые “западники”. Но на деле в жертву приносятся лучшие качества “русскости”, а превалировать начинают экстремизм вкупе с инфантилизмом как отсутствием реалистического взгляда на вещи. В сочетании с

избыточным самосознанием это приводит к доминированию “второй”, рефлексивной природы над “первой” и предопределяет “второсортность” западничества, проявляющуюся прежде всего в неспособности полноценного функционирования в русской среде.

2006

И. В. Гречаник (Москва)

РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ НАЧАЛА XX ВЕКА

Выявляется такая закономерность: стоит увлечься каким-либо вопросом – открываешь книги В. В. Кожина и изумляешься – у него об этом давно написано! Уровень осмысления многих проблем настолько высок, что возникают ассоциации с энциклопедией или кулинарной книгой со множеством рецептов, где описаны составляющие явлений, событий, мировоззрений. Каждый рецепт – своего рода прорыв мыслящего сознания, качественный скачок, поднимающий осознание каждого вопроса на несколько порядков. Уникальный мыслитель щедро оставил нам плоды своего труда и размышлений, поэтому теперь намного легче жить тем, кто идет следом – можно продолжать, домысливать – но фундамент уже есть.

Говоря о начале XX века в работе “Россия. Век XX”, В. В. Кожин представляет спектр значимых идеологических направлений, среди которых выделяет отнюдь не религиозных философов, а тех, кто, по его мнению, обладал подлинной долей предвидения исторического пути России; тех, кто являлся подлинными носителями русского культурного наследия; тех, кто фактически создал программу для современной сегодняшней борьбы в сфере идеологии, программу вероятного грядущего пути России; тех, кто исповедовал христианско-православные, монархически-самодержавные и народно-национальные убеждения. Речь идет о черносотенном направлении, предшественниками которого были славянофилы, Н. В. Гоголь, почвенничество, Ф. М. Достоевский.

В. В. Кожин оценивает тех или иных деятелей и мыслителей по их отношению к черносотенцам. Сразу отметим приоритеты мыслителя: это В. В. Розанов, П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков, митр. Антоний (Храповицкий). В остальном, по мнению критика, шел процесс не только прискорбного замалчивания ценнейшего наследия русской культуры, но и жесткая борьба против него, например, тенденция “преодоления Достоевского”.

Говоря о Г. П. Федотове, В. В. Кожин называет его одним из “опомнившихся прогрессистов”. Критик трезво и без сентиментальности смотрит на прозрение и покаяние Г. П. Федотова: “...Очень уж чувствуется, что он прямо-таки наслаждался своей покаянной медитацией – смотрите, мол, какой я хороший... Помог разбить русское государство, а теперь, поняв, наконец, что оно значило, готов искупать свою вину”. В. В. Кожин указывает на то, что Г. П. Федотов, критикуя А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского, считает социалиста А. И. Герцена единственным из века учителем свободы.

2006

М. Кога (Япония, Осака)

“ЛАСКОВОЕ НЕТ” В РУССКИХ СТИХАХ О ЛЮБВИ

Вадиму Кожину принадлежит любопытное рассуждение о пушкинском стихотворении “Я вас любил...”. Как известно, эти стихи кончаются словами:

*Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.*

И Кожин советует читателю не понимать эти строки прямо. А именно: перед нами не краткое согласие с оставляющей поэта возлюбленной, а намек на то, что в действительности никто другой не будет любить героиню так, как любил ее “я”, и она должна сделать из этого серьезный вывод.

Очевидно, Пушкина мы поймем более верно, если в его “Как дай вам Бог” расслышим именно кротость и щедрость. А если же и надо что-то прослушивать у него между строк и слов, то это не своей ласковостью, а своей твердостью примечательное “нет”. Оно не звучит здесь прямо, и это твердое “нет” говорит не женщина мужчине, а мужчина самому себе. И оно не менее, а может быть, и более благородно, чем те “нет”, “перестаньте”, “оставьте меня” и т. п., которые так легко направить собеседнику, не обращая подобных требований в свой собственный адрес.

2006

К. А. Кокшенева (Москва)

“ЛЕВЫЕ” СТАРЫЕ И “ЛЕВЫЕ” НОВЫЕ. “ЛЕВОЕ ИСКУССТВО” В ОЦЕНКЕ В. В. КОЖИНОВА

Современные “левые” свою революционность реализуют через оппозиционность. Вообще “оппозиционность” к чему-либо составляет принципиальную черту “левого искусства”. Оппозиционность к власти, к государству. Оппозиционность к культурному наследию. Именно в этом пространстве В. Кожин рассматривает негативизм и нигилизм авангардистов: как в творческой практике, так и в научных работах ОПОЯЗа, теоретических трактатах ЛЕФа. Он прямо пишет: “Для авангардизма характерно прямое или более сложное <...> отрицание прошлого и его культуры, различные формы дегуманизации искусства и техницизм; в нем причудливо сплетаются анархические и догматические тенденции”. Правда, ученый никак не развивает мысли о сущности “догматических тенденций”. Тем не менее критика эстетики левого искусства у него очевидна: это и “упрощенное, обедненное, поверхностное представление о человеке и вульгарное и формалистическое понимание высших сфер человеческого творчества”. Отмечает В. Кожин и уверенность авангардизма в том, что человека можно очень просто “изучить, “развинтить” и переделать, реконструировать”. <...>

Самая тяжкая болезнь “левых” — конфликт с национальным, определенное презрение к национальному, борьба с национальным. Не случайно сам же В. Кожин в другой, более поздней своей работе “Пути русской культуры” в 1997 году писал, что к 1930-м годам существовали следующие литературные группы и направления: левовцы, конструктивисты, имажинисты, Серапионовы братья, “южнорусская школа”, “перевальцы” и крестьянские писатели “есенинского круга”. Среди них “русским национальным сознанием были проникнуты” только неославянофильское крыло “Перевала” и крестьянские писатели. Именно представители национальной культуры, — пишет В. Кожин, — в тридцатые годы “все — буквально все” были репрессированы (за исключением Пимена Карпова, переставшего печататься с 1933 года), в то время как из “пяти десятков основных участников перечисленных выше пяти группировок, далеких от “русских идей”, репрессированы были всего только двое писателей — левовец С. Третьяков и представитель “южнорусской школы” И. Бабель”. <...>

Христианство в “левой” адаптации удивительно вульгарно. Христианство в “левой” интерпретации приобретает очертания прежде всего некой физической силы, как будто не две тысячи лет оно нам являло совершенно иной источник. Левизна искусства содержит в себе неполноту. Об этом, в сущности, писал и В. Кожин, хотя и избежал обсуждения вопросов “левые и национальное сознание”, “левые и христианство”. “Левое” искусство принципиально не может в себя вместить самобытность национального мира. В нем по-прежнему человек как личность остается на нижнем этаже техногенного мира.

2004

А. В. Репников (Москва)

ВКЛАД В. В. КОЖИНОВА В ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ПРАВОМОНАРХИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В неоднократно переиздававшейся и дополнявшейся работе В. Кожинова, посвященной правым организациям¹, была представлена исследовательская версия истории правомонархического движения в России. Автор обратился к острому вопросу, связанному с социальным составом правых, погромами периода первой русской революции, параллелям между черносотенством и фашизмом.

Прежде всего, В. Кожинов рассмотрел само определение “черносотенцы”, которое долгие десятилетия носило откровенно негативный оттенок. Одним из первых он затронул вопрос не только о низовых членах правых организаций, но и о связях с черносотенцами видных ученых, писателей, художников и церковных иерархов².

В. Кожинов попытался рассмотреть и такой болезненный вопрос, как погромы и черносотенный террор (прежде всего, убийства А. Караваева, М. Герценштейна, Г. Иоллоса), обратившись как к мемуарной литературе, так и к первой в отечественной науке специальной монографии С. Степанова о правых³. В результате В. Кожинов пришел к выводу, что “Союз русского народа” просто не мог быть организатором произошедших ранее столкновений, которые представляли собой не спланированную и подготовленную акцию, а стихийную реакцию монархистов. Статистика свидетельствует, что большинство уличных столкновений монархически настроенных толп с радикалами и либералами приходится на октябрь, а “Союз русского народа” как массовая партия возник в ноябре 1905-го, и далеко не факт, что те, кто принимал участие в погромах, обязательно вступили потом в монархические союзы. Вряд ли можно точно выявить, какое число погромщиков впоследствии влилось в ряды правых партий, к тому же социальный состав правых был весьма разнороден, а после падения самодержавия некоторые из рядовых монархистов поддержали большевиков⁴. <...>

В. В. Кожинов был одним из первых постперестроечных исследователей истории правомонархического движения в России. “Можно с чем-то не соглашаться в книге В. Кожинова, но нельзя не признать разрушение им сложившихся старых стереотипов освещения ряда важных и острых вопросов темы, что если и не решает, то “расчищает” дорогу для решения этих вопросов”, — отмечал Ю. Кирьянов⁵.

2004

Н. И. Дорошенко (Москва)

В. В. КОЖИНОВ И СОВРЕМЕННОЕ РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Есть писатели, которые только своим присутствием в текущей жизни внушают нам уверенность, что жизнь эта не лишена смысла. По крайней мере, они способны даже в наши разочарования вносить элемент творческо-

¹ Кожинов В. Загадочные страницы истории XX века. “Черносотенцы” и революция. М., 1995; Он же. “Черносотенцы” и революция (загадочные страницы истории) (Изд. 2-е, дополненное). М., 1998; Он же. Россия. Век XX. (1901–1939). История страны от 1901 года до “загадочного” 1937 года. Опыт беспристрастного исследования. М., 2002. Ранее исследование, посвященное “черносотенцам”, публиковалось на страницах журнала “Наш современник”.

² Отметим, что ряд церковных деятелей, поддерживавших правые партии и состоящих в них, был канонизирован в последнее десятилетие, в том числе и в момент массовой канонизации новомучеников на юбилейном Архиерейском соборе 13–16 августа 2000 года. Подробнее см.: Русь Православная. 2000, № 9.

³ Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914 гг.). М., 1992.

⁴ Об этом, в частности, писал в дневнике и В. Вернадский, отмечавший, что “черносотенные элементы находятся массами среди большевиков” // Вернадский В. И. “Придется перейти через кризис” // Огонек, 1990, № 49, с. 15.

⁵ Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы: В 2 т. — Т. 2. 1911–1917 гг., с. 737.

го или хотя бы утешительного ожидания. Таким в русском литературном процессе и в русской национальной мысли был Вадим Валерианович Кожин. <...>

Именно его пытаются изгнать наши радикальные националисты (как в свое время евреи изгнали Спинозу!) из своего уже сильно охолонувшего поля влияния. В частности, Кожину ставится в вину недостаточно четко обозначенный антисемитизм и даже якобы воспринятый от Бахтина нравственный релятивизм.

Кожинский “релятивизм” опровергать бессмысленно, потому что, находясь в здравом уме, его обнаружить невозможно. А вот “антисемитом” Кожин действительно не был, при всем весьма очевидном для него как историка трагизме русско-еврейского противостояния. Мне представляется весьма справедливым и мнение о том, что Кожин, как, впрочем, и Станислав Куняев, и Татьяна Глушкова, испытал на себе в юные годы некое еврейское влияние. Известны даже некие попытки Кожина найти повод к русско-еврейскому диалогу.

Но давайте наконец-то поймем следующее: когда значение Кожина для русского самосознания нам предлагают проверять степень его антисемитизма, то тем самым и само наше русское бытие нам предлагается воспринимать не как некое самостоятельное духовно-историческое и культурное явление, а как реакцию на еврейское присутствие на территории России и в мире, как нечто заведомо вторичное, не имеющее самостоятельной ценности.

Проще говоря, нам предлагается быть неуверенными в важности и в актуальности кожиновского стремления строить русское духовное и историческое пространство не из ненависти к еврейскому присутствию в русской жизни, а, в первую очередь, из любви ко всему тому, в чем русский человек может узнать свое национальное бытие, свою собственную, соотношенную с вечным временем душу. Да, уже никто не посмеет оспорить нынешнюю значимость плеяды буквально вбитых Кожинным в русское сознание поэтов – от Рубцова до Лапшина и Сырневой. Уже никто не посмеет посягнуть на бесспорность (при всей нашей нынешней патриотической эклектике!) именно кожиновской трактовки советской истории, где, может быть, ключевой является глава “Загадка 37-го года”, поясняющая историческую значимость советского выбора между Троцким и Сталиным в пользу Сталина. Но нас продолжают запутывать по мелочам, по частностям. Нас морочат. В одно только законное чувство нашей русской исторической обиды на евреев хотят превратить весь наш русский космос, – так, чтобы от Достоевского остались для нас значимыми только его заметки по еврейскому вопросу, а “Евгений Онегин” Пушкина чтобы пылился в чулане вместе со шлангом от давно выброшенной стиральной машины и с давно сломанным фотоаппаратом “Смена”.

2003

А. В. Татаринов (Краснодар)

СУЖДЕНИЯ В. В. КОЖИНОВА О ТРАГЕДИИ И ТРАГИЧЕСКОМ В КОНТЕКСТЕ ЕГО ИСТОРИЧЕСКИХ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ

В гуманитарных науках есть разные пути. Для кого-то вполне приемлема и даже необходима узкая специализация, посвящение себя одной из элитарных тем филологии или философии, требующих интеллектуального одиночества и диссертационной отчужденности от неизбежной суеи диалога с *профанным* миром. Творческая судьба В. В. Кожина – пример иного, максимально контактного, подчеркнуто диалогического пути, на котором встреча с читателем и слушателем становится обязательным условием научного бытия. Когда литературовед-теоретик становится историком, философом и даже политиком, не забывая при этом литературу и всегда к месту используя ее знание, видишь впечатляющий пример гуманитарного синтеза. Представляешь себе и читателя, уставшего от изощренных терминологических игр и получающего возможность мыслить о сложных предметах на родном языке, минимально пострадавшем от типичной для сегодняшнего дня агрессии лингвистических

терминов. Постмодернистский способ познания, превращающий речь в дискурс, пространство потенциального разговора – в мир без конца расширяющихся значений и исчезающих смыслов, – был В. В. Кожинovu малоинтересен.

Удивляет умение В. В. Кожинова оставлять вполне уютные и по-настоящему актуальные области гуманитарной науки, чтобы сделать очередной шаг вперед, постоянно приближаясь к читателю и слушателю. Из теории – в историю русской словесности, в статьи и книги о великих и почти безвестных поэтах и писателях. Потом – национальная история, и сюжет художественного произведения в трудах В. В. Кожинова уступает место общерусскому историческому сюжету на фоне всемирных процессов, в контексте глобального противостояния идей и образов. Из книг по истории России – в публицистику, в многочисленные выступления о *текущем моменте*, который всегда рассматривается как существенный эпизод общерусской судьбы. Философы и писатели минувших эпох включаются в неспешный диалог, снимая острую боль настоящего и превращая политику в нечто большее, чем борьба партий или проблема усмирения отдельно взятого российского региона.

Мир для В. В. Кожинова не был *текстом*. Литературные сюжеты, как и жизнь предшествующих поколений, не стали для него местом и временем для герменевтических игр, полем изощренных интерпретаций. Простая, но не аксиоматическая для сегодняшнего дня мысль о том, что *реальность действительно есть*, что история по-настоящему существует и не исчерпывается нашими речами о ней, в трудах В. В. Кожинова отстаивает себя постоянно. За любым сюжетом – жизнь, за каждым героем – человек, за автором – повторяемая судьба. *Бумажные существа*, в которые превращаются автор, повествователи и герои в постмодернистском тексте, здесь не появляются. Обостренное чувство реальности, переживание ее на всех уровнях – от конкретно-исторического до метафизического – редко остается вне трагического мироощущения.

Экзистенциального трагизма, располагающего к постоянным воспоминаниям о смерти, к скорбным словам о суровом характере мироздания, в трудах В. В. Кожинова нет. Есть, на наш взгляд, *трагизм* как глубинный подтекст размышлений об ушедших поколениях и отдельных творцах истории, *трагизм* как вера в бессмертие по-настоящему высокого, что должно претерпеть страдания и жить вечно, *трагизм* как способ видения и оценки мировой истории, не знающий отдыха от проясняющих смысл катастроф.

2003

Ю. М. Павлов (Армавир)

ВАДИМ КОЖИНОВ: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ НА ФОНЕ ЭПОХИ

Дискуссия о гибели Пушкина получила свое продолжение в 1991–1993 годах. Теперь уже “чистый” пушкинист С. Фомичев, которого Кожинов называет “весьма посредственным” и “малоизвестным литературоведом”, сначала приписывает критику масонскую версию гибели Пушкина (“Русская литература”, 1991, № 2). После ответа Вадима Валериановича он вынужден был признать безосновательность своих утверждений и... тут же выдвинул новый вариант “обвинения”: П. Щеголев, Г. Чулков, И. Андроников, Д. Благой, на которых ссылается В. Кожинов, говоря о космополитической “окраске” заговора, ничего подобного не утверждали. Приведя цитаты из работ названных авторов, Кожинов делает закономерный вывод: “Как видим, и П. Е. Щеголев, и Г. И. Чулков, и И. Л. Андроников, и Д. Д. Благой были убеждены, что гибель Пушкина явилась “результатом зловещих действий “ареопага”, “олигархии”, “клики”, “верхушки”, суть коих определена в их работах словами “интернациональная”, “космополитическая”, “международная” <...> и, с другой стороны, “никак не связанная с русской культурой”, “антинародная”, “антинациональная” и, добавлю от себя, откровенно русофобская. В 1837 году это понял даже иностранный дипломат, назвавший погибшего Пушкина представителем “русской партии”, противостоящей иной, антинациональной группировке” (“Литературная Россия”, 1993, № 28–29).

В 1999 году Вадим Валерианович вновь вернулся к этой теме в статье “О тайне гибели Поэта” (“Москва”, 1999, № 6). Он значительно детализирует событийно-человеческий фон трагедии, при этом положения двух предыдущих работ почти в полном объеме органично входят в данную статью. Называются и новые авторы, которые в разное время высказывали идеи, созвучные кожиновским. Это Николай Страхов и Владислав Ходасевич.

Вообще в год 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина В. Кожин опубликовал восемь статей о поэте. В них рассматриваются самые разные вопросы: от места рождения Пушкина (“Где родился поэт?” // “Труд”, 1999, 5 мая) до его историософских взглядов (“Пушкин и Чаадаев. Из истории русского национального самосознания // “Национальные интересы”, 1999, № 2). Одиннадцать статей о Пушкине вошли в книгу Вадима Валериановича “Великое творчество. Великая Победа” (М., 1999), в которой закономерно связываются явление Поэта и наша Победа 1945 года.

Через многочисленные “пушкинские” интервью Кожина лейтмотивом проходит мысль, вынесенная в заглавие беседы с Вяч. Морозовым: “Мы все еще должны дорасти до пушкинских стихов” (“Наш современник”, 1999, № 6). О Вадиме Валериановиче Кожине можно сказать, что он до пушкинских стихов дорос.

2007

Н. И. Крижановский (Армавир)

СОБОРНОСТЬ В ВОСПРИЯТИИ В. КОЖИНОВА И СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

В статьях В. Кожина 70–80-х годов можно найти первичные подходы к осмыслению сущностных сторон категории соборности. В 1970 году в работе “Величие писателя”, посвященной произведениям Ф. Достоевского, критик, особенно пристально анализируя роман “Преступление и наказание”, говорит, что герои Достоевского “постоянно действуют и сознают себя перед лицом целого мира, а их проблемы оказываются в конечном счете всечеловеческими”. В. Кожин обозначает эту особенность поведения героев как обращенность ко всему миру, соотносимость с целым миром, с человечеством. Осмысляя художественный мир произведений Достоевского еще до появления работ Ю. Селезнева, В. Кожин отмечает стремление писателя изобразить поступки героев в соотношении со всем миром и весь мир сопрягать с происходящим в романе. Заканчивая статью, исследователь приходит к выводу, что искусство Достоевского дает основу для решения мировых трагических противоречий. Эта основа – в личной ответственности человека перед миром и ответственности мира перед ним: “Если чувство единства с целым миром есть – значит, разрешение всех противоречий возможно”.

Спустя десятилетие, создавая “заметки о духовном своеобразии России” и определяя в них основные черты русской литературы, в статье “И назовет меня всяк сущий в ней язык...” (1980) критик выделяет “всемирность” и “все-человечность” – те качества, которые несут в себе произведения отечественной словесности, и в первую очередь произведения Достоевского. Здесь же он справедливо указывает на “Слово о Законе и Благодати” как на первое произведение нашей литературы, где впервые выразилась русская идея всечеловечности. Исследователь вплотную подступает к выражению одной из важнейших черт соборности, воплотившейся в русской литературе и заложенной в корне этого слова, – духовному единению людей. В. Кожин обращает внимание не только на стремление персонажей из произведений классиков русской словесности совершать свои поступки, как бы соотнося их со всем миром, но и на то, что от общего, единого по своей духовной природе мира герой может отпасть, отделиться. Например, Раскольников “отрезал себя, как ножницами” от всех убийством старухи-процентщицы и ее сестры. Так герой отпал от человеческого единства, и ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем он вновь обретет эту важнейшую связь с людьми, которая и есть живое проявление соборности. <...>

В творческом наследии В. Кожина интересующее нас понятие впервые осмыслено в статье “Соборность лирики Тютчева”. В ней исследователь утверждает, что в “поэзии Ф. И. Тютчева воплощено духовное состояние (и порожденное им творческое деяние), истари определяемое словом “соборность”.

Прежде всего, критик отделяет понятие соборности от общинности. По мысли критика, в общинности присутствует “ограничение собственно личных человеческих качеств и устремлений, подчинение личности общим интересам и целям”. Отличие соборности именно в том, что она рождается “только при свободном, ничем не связанном и не ограниченном самораскрытии личности”, то есть ничто земное не должно обуславливать воплощение соборности. В. Кожин косвенно указывает на ошибку Ю. Сохрякова, соединявшего соборное и общинное начала как нечто однородное, сходное. Кроме этого, критик не приемлет соборность в качестве только религиозного, церковного понятия. Он указывает, что в жизни церкви соборность выступает с наибольшей ясностью и полнотой, хотя эта категория “может воплощаться и в иных актах объединившихся людей – в подвигах, совершаемых во имя Отечества, или ради торжества справедливости, или в целях освоения еще не подвластных человечеству пространств мира и т. д.”

2003

В. Г. Бондаренко (Москва)

УЧИТЕЛЬ КОЖИНОВ

Вадим Кожин – это человек без чинов и званий, этакий литературный пастырь. И если в книгах своих он успешно проповедовал свои взгляды на русскую историю и русскую литературу, то в жизни, сколько я его помню, он увлеченно работал с молодыми – поэтами, прозаиками, критиками. Ладно бы за это, как иным литначальникам, деньги платили – это было его влечение души. Жить в своем академическом кругу ИМЛИ, или же в полемической борьбе с многочисленными оппонентами и справа, и слева – от Владимира Бушина до Бенедикта Сарнова – ему было мало. Какая-то часть души оставалась невостребованной.

И потому он охотно возился с молодыми литераторами вне всяких студий и семинаров. Он по характеру был учителем, наставником. Сколько раз был у него дома по литературным делам – всегда рано или поздно к нему приходил или ему звонил один из его воспитанников. То Юрий Кузнецов, то Сергей Небольсин, то Петр Кошель.

Взглянем на его сверстников, таких же как он, критиков – Чалмаев, Лобанов, Ланщиков, или из другого лагеря – Лакшин, Дедков, Рассадин. Каждый, плох он или хорош, – сам по себе.

Лишь наш Вадим Валерьянович выше своих статей и книг ставил работу с молодыми писателями. Впрочем, не только с молодыми. Никто не отрицает, что долгие годы Вадим Кожин был неформальным идеологом журнала “Наш современник”. Удивительно, при Союзе писателей СССР тогда в советское время существовала масса комиссий по работе с молодыми писателями: тут и Олег Попцов в московском “Союзе”, и Юрий Лопусов в аппарате СП СССР, и Валерий Деметьев в Союзе писателей России. Проходили совещания молодых, семинары, иные из молодых месяцами кочевали из Малеевки в Ялту, из Ялты в Дубулты, оттуда в Пицунду... Сам Вадим Кожин ни в каких аппаратах не состоял, никаких зарплат не получал, но его квартира, его телефон, его почтовый ящик – и были главными центрами по становлению новой русской национальной литературы. Он и ездил, пока было здоровье, по городам и весям России, подбирая своих, близких ему людей – поэтов, критиков, литературоведов, мыслителей.

2008

В. КОЖИНОВ О ПОСТМОДЕРНИЗМЕ И АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Развернутую характеристику постмодернизма В. Кожинов дает в статье “Внимание: литература США сегодня. Достижения и просчеты современной американистики”, написанной в обычной для критика диалогической манере, с привлечением несобственно прямой речи и цитированием работ литературоведов-американистов (А. Анастасьева, А. Зверева, А. Мулярчика).

В центре внимания В. Кожинова проблемы советской критики 70-х гг., феномен постмодернизма и его роль в литературном процессе Америки XX в., поэтому критик начинает статью констатацией факта, что “с середины 1950-х гг. на первый план литературы США выдвигаются, все нарастая и расширяясь, явления, которые бесспорно выражает и объединяет понятие постмодернизм”. Абсолютно верно утверждение исследователя о том, что только классика была способна противостоять его натиску, только ей было под силу “затормозить” развитие постмодернизма. В этом можно убедиться на примере распространения модернизма в литературе США в начале XX века, который, как справедливо отмечает В. Кожинов, “сдал свои позиции” к 30-м гг. во многом “благодаря художникам, чья творческая деятельность в самой своей основе являла собой развитие классических традиций искусства слова”. Среди художников, которые “определяли во второй четверти XX в. лицо американской литературы”, В. Кожинов называет Ш. Андерсена, Р. Фроста, Ф. С. Фицджеральда, Т. Вулфа, У. Фолкнера, Э. Хемингуэя, Д. Стейнбека, Э. Колдуэлла. Хотя данным писателям также не удалось избежать воздействия “модернистских веяний”, они остались верными народным основам творчества.

Их традиции продолжили в 70-е гг. XX в. Д. Гарднер, Р. П. Уоррен, Дж. Чивер, Дж. К. Оутс. Но новым реалистам приходилось отстаивать классические традиции уже в других, более сложных условиях, когда разрабатывались принципы постструктурализма как теоретической основы критики и литературы. В этой связи нельзя не согласиться с мнением В. Кожинова о том, что борьба за подлинную литературу “настолько остра, что крупнейшие художники вынуждены выступать с боевыми публицистическими книгами”. И в качестве примера он приводит работы Р. П. Уоррена и Д. Гарднера. Острая борьба за подлинную литературу, как справедливо отмечает исследователь, идет не только среди писателей, но и в критике, что нашло отражение в полемической направленности данной статьи.

В связи с этим основополагающей в статье становится характеристика В. Кожиновым постмодернизма не только как литературного направления, но и как идеологического явления. Исходя из экзистенциалистской философии и ее категорий тревоги, заброшенности и отчаяния, постмодернизм считает абсурдным “человеческое бытие и созданную людьми культуру”. Поэтому В. Кожинов достаточно категоричен в негативном отношении к данному направлению, так как постмодернизм представляет жизнь “полностью лишенной истинных ценностей – ценностей социальных, нравственных, культурных, ценностей истории и повседневного быта, ценностей национальных и общечеловеческих”.

Однако философское определение художественной ценности приводит критика к не всегда верным и глубоким оценкам. Так, например, его характеристика постмодернизма нуждается в следующем уточнении: жизнь представляла в литературе постмодернизма полностью лишенной не истинных, а христианских (духовных) ценностей. Данная формулировка позволяет рассматривать постмодернизм как антихристианское явление, и в этом свете становится очевидной его антигуманная направленность. Так же, как смысл главного положения экзистенциалистской философии “Экзистенциализм – это гуманизм” (Ж. П. Сартр) в православно-христианской трактовке сводится к формуле “экзистенциализм – это индивидуализм”, где понятие “гуманизм” приобретает негативную семантику, а следовательно, воздействие экзистенциализма на постмодернизм приводит к еще большей девальвации христианских ценностей.